

АЙЛИН



ЕФРОСИНЬЯ



Айлин  
Ефросинья

«Автор»

2026

## **Айлин**

Ефросинья / Айлин — «Автор», 2026

«Если можешь спасти — спасай», — сказал ей отец. Этим Ефросинья и жила. Крупная, некрасивая, всю жизнь считавшая, что любовь — не для неё, она прошла войну санитаркой, вытаскивая раненых из-под огня. В госпитале одной метельной ночью она спасла обречённого мальчишку, которого все уже списали, — и обрела с ним то, чего не ждала. История женщины, чьи сильные, надёжные руки спасли сотни жизней. О войне и доме, о потерях и упрямой любви. О том, что жизнь сильнее смерти.

© Айлин, 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Часть первая. Деревня	7
Глава 1. Деревня	7
Глава 2. Охота	10
Глава 3. Большая семья	13
Глава 4. Младшие	15
Глава 5. Волки	17
Глава 6. Престол	19
Глава 7. Учёба	21
Глава 8. Зиночка	24
Глава 9. Руки	26
Глава 10. Мирная жизнь	28
Глава 11. Первый день войны	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# Айлин Ефросинья

## **ЕФРОСИНЯ**

*роман*

### **Оглавление**

Часть первая. Деревня

Глава 1. Деревня

Глава 2. Охота

Глава 3. Большая семья

Глава 4. Младшие

Глава 5. Волки

Глава 6. Престол

Глава 7. Учёба

Глава 8. Зиночка

Глава 9. Руки

Глава 10. Мирная жизнь

Глава 11. Первый день войны

Глава 12. Доброволец

Глава 13. Степан

Глава 14. Гриша

Глава 15. Глухово

Глава 16. Эшелон

Глава 17. Под Москвой

Глава 18. Дорога на восток

Глава 19. Сортировка

Глава 20. Ранение

Глава 21. Ярославль

Часть вторая. Госпиталь

Глава 22. Алексей

Глава 23. Парень из эшелона

Глава 24. Метка

Глава 25. Разговор с врачом

Глава 26. Ампутация

Глава 27. Лебедев

Глава 28. Выходить

Глава 29. Валя

Глава 30. Весна

Глава 31. Палата

Глава 32. Нюра

Глава 33. Город

Глава 34. Свет погас

Глава 35. Почему ты?

Глава 36. Предложение

Часть третья. Жизнь

Глава 37. После войны

- Глава 38. Победа
- Глава 39. Возвращение
- Глава 40. Отец
- Глава 41. Семья
- Глава 42. Голодный год
- Глава 43. Сестра Ефросинья
- Глава 44. Встреча
- Глава 45. Река времени
- Глава 46. Сад

## Часть первая. Деревня

### Глава 1. Деревня

Ефросинья родилась ранней весной, когда снег в деревне уже почернел от золы и дыма, а на реке ещё стоял тяжёлый серый лёд. Дороги раскисли, по дворам текли ручьи, куры бродили по грязи, сердито поджимая лапы, а ветер тянул от леса сыростью и талой водой.

Деревня называлась Глухово и стояла на низком берегу реки, в стороне от большой дороги, будто кто-то однажды обронил её здесь и забыл. Полтора десятка дворов жались друг к другу вдоль одной кривой улицы, что весной превращалась в чёрное месиво, а летом высыхала до серой растрескавшейся корки. За огородами начинался пологий спуск к воде, дальше — заливные луга, а ещё дальше, тёмной стеной до самого горизонта, стоял лес. Лес был старше деревни, старше людей, старше всего, что Ефросинья могла себе представить. Он отнимал у зимнего неба половину света и возвращал по весне запах хвои, прелой листвы и чего-то ещё — холодного, древнего, без названия.

Мать потом говорила:

— Намучилась я с тобой. Орала так, будто с жизнью сразу спорить начала.

Дом у них был старый, тёплый, с низкими потолками и закопчённой печью. Брёвна за полвека потемнели до черноты, в углах проступал мох, а пол скрипел в трёх местах так, что Ефросинья с закрытыми глазами могла сказать, кто куда идёт. По ночам в избе пахло хлебом, овчиной, дымом и молоком. Зимой окна покрывались толстым узором инея, и маленькая Ефросинья любила разглядывать ледяные ветки на стекле, пока мать растапливала печь. Она дышала на стекло, протаивала кружок и смотрела сквозь него на белый двор, на покосившийся плетень, на колодезный журавль, торчащий в небо, как сухая чёрная рука.

Семья была большая — шестеро детей.

Жили тесно. За столом сидели плечом к плечу, зимой сушили валенки прямо у печи, а по вечерам младшие засыпали вповалку под старым тулупом. Места не хватало никому и хватало всем — так уж было заведено. Старшая, Дуся, рано ушла в город в няньки. Потом шли два брата-погодка, Степан и Гриша, оба в отца — молчаливые, жилистые. Потом сама Ефросинья. Потом тихая красивая Манька, младшая сестра, на которую заглядывались уже в пятнадцать. И самый меньшой, Ванятка, поскрёбыш, общий любимец.

Работы хватало всегда.

Летом деревня гудела с рассвета. Скрипели телеги, мычали коровы, женщины перекликались через заборы. Воздух пах нагретой травой, навозом, дымом бань и свежескошенным сеном. К полудню над лугами стояло дрожащее марево, в траве трещали кузнечики, и казалось, что лето это будет всегда — что зимы никогда и не было.

Зимой всё становилось тише.

Снег лежал высокими сугробами. По ночам выли собаки. А лес за деревней стоял чёрный, огромный и будто живой. В короткие зимние дни солнце едва поднималось над лесом, висело низко, красное, и снова падало за деревья, а потом наступала длинная синяя ночь, и в окнах изб дрожали жёлтые огоньки лучин и керосиновых ламп.

Ефросинья росла крупной девочкой.

К двенадцати годам была выше многих взрослых женщин. Плечистая, сильная, с большими ладонями и широким лицом. Волосы густые, тёмные, тяжёлой косой лежали на спине. Она могла поднять мешок с зерном, который мужики поднимали вдвоём, могла одна докатить полную бочку от колодца до бани, и соседки, глядя на неё, качали головами не то с уважением, не то с жалостью.

— Эх, Фроська... тебе бы мужиком родиться.

Она делала вид, что не слышит.

Хотя иногда по вечерам всё-таки украдкой смотрела в мутное зеркало возле печки. На младшую сестру — тонкую, светлоглазую, красивую. Потом на себя. И быстро отворачивалась. В зеркале отражалось чужое, как ей казалось, лицо: тяжёлый подбородок, широкие скулы, серьёзные тёмные глаза. Лицо человека, рождённого для работы, а не для того, чтобы на него любовались.

Некогда было о таком думать.

С утра — колодец. Потом огород. Потом стирка. Козу отвязать. Младших накормить. Картошку перебрать. День расходился на сотню мелких дел, и каждое надо было сделать, потому что если не она, то кто же. Руки у неё с детства были в трещинах и царапинах. Зимой кожа на костяшках лопалась от холода и щёлока, мать мазала ей руки гусиным жиром, а наутро всё начиналось заново.

Но жаловаться Ефросинья не умела.

Мать была ей и наукой, и загадкой. Звали её Прасковья — тёзка, как потом окажется, той вдовы, на которой женится Гриша, будто судьба любила повторять имена. Невысокая, жилистая, неумолимая, она тянула на себе весь дом — шестерых детей, мужа, хозяйство, — и тянула молча, без жалоб, как тянули все деревенские бабы, не знавшие иной доли. Руки у неё не останавливались никогда: то у печи, то за прялкой, то с шитьём, то с тестом, то с ребёнком на руках. Ефросинья не помнила, чтобы мать когда-нибудь просто сидела без дела. Даже разговаривая, даже отдыхая, она что-нибудь да делала руками.

Ласковой мать не была — некогда было ласкать, да и не принято. Любовь свою она показывала иначе: лишним куском, заштопанной к холодам одежкой, гусиным жиром на потрескавшихся детских руках, тем, что в самые голодные годы у детей всегда был хоть какой хлеб, пусть сама недоедала. Ефросинья переняла у неё это понимание любви — не словом, а делом, не лаской, а заботой. И всю жизнь любила потом так же — кормя, выхаживая, штопая, спасая. Не умея сказать «люблю», но умея сделать всё, чтобы тому, кого любишь, было теплее, сытнее, легче.

Только раз Ефросинья видела мать праздной — и то была не праздность, а горе. Когда пришла похоронка на Степана. Тогда мать села на лавку и просидела, не двигаясь, целый день, сложив на коленях свои вечно занятые руки. И эти неподвижные, опустевшие руки были страшнее любого крика. А наутро мать встала и снова взялась за дело — потому что иначе не умела, потому что в работе было спасение, единственное, какое она знала. И в этом она тоже была как дочь. Или дочь — как она.

Больше всего на свете Ефросинья любила ходить с отцом в лес.

Отец был человеком молчаливым. Высокий, сутуловатый, с густой тёмной бородой и тяжёлым взглядом. От него всегда пахло табаком, морозом и сырым деревом. Звали его Тихон Захарович, и в деревне это имя произносили с уважением, чуть понизив голос, — так говорят о людях, которые знают что-то, чего не знают остальные.

Он был хорошим охотником.

Зверя чувствовал будто заранее. Мог часами идти по следу молча, внимательно глядя под ноги, и никогда не стрелял зря. Он не любил пустых разговоров и пустых выстрелов одинаково. «Зря убитый зверь, — говорил он, — это грех, который потом сам тебя найдёт».

Сыновей он с собой почти не брал.

Старший, Степан, боялся крови. Средний, Гриша, быстро уставал и начинал ныть. Ванятка ещё был ребёнком. А Ефросинья шла рядом спокойно и внимательно слушала. Она не спрашивала лишнего, не топала, не пугала зверя. Отец это заметил рано — раньше, чем сама Ефросинья поняла, что в ней есть что-то особенное.

Поэтому первое ружьё он дал именно ей.

Было морозное зимнее утро. Небо ещё только начинало сереть, снег под ногами скрипел резко и сухо. Деревья стояли белые, неподвижные, будто вырезанные из льда. Дыхание оседало инеем на воротнике, ресницы слипались от мороза, и весь мир был чёрно-белым, как старая фотография.

Отец остановился на краю поляны и молча протянул ей старую одностволку.

Ружьё оказалось тяжёлым.

Металл был холодный, почти обжигающий ладони. Приклад, отполированный десятками лет, лёг в руки так, будто был сделан под неё.

— Не балуйся только, — сказал отец. — Ружьё дураков не любит.

Ефросинья серьёзно кивнула.

Он поставил на пень пустую жестяную банку и отошёл чуть в сторону.

— Спокойно целйся. Не дёргайся.

Она подняла ружьё.

Сердце стучало так громко, что казалось — слышно в лесу. Мушка плясала перед глазами, банка то приближалась, то уплывала. Ефросинья задержала дыхание, как он учил, и медленно повела пальцем.

Палец лёг на курок.

Выстрел ударил резко, оглушительно. Плечо обожгло отдачей. Над поляной взлетела стая снегирей, и с ближней ветки тяжело осыпался снег.

Банка слетела с пня и покатила по снегу.

Ефросинья от неожиданности сама чуть не села в сугроб.

Отец посмотрел сначала на банку, потом на неё. И вдруг едва заметно улыбнулся.

— Глаз хороший, — тихо сказал он. — Это редкость.

Она тогда ничего не ответила.

Только почувствовала внутри странное тёплое чувство. Будто впервые в жизни сделала что-то правильно. И отец это увидел.

Домой возвращались уже засветло. Снег розовел под низким солнцем, дым над деревней стоял прямыми столбами — к морозу. Отец нёс ружьё, Ефросинья шла следом, попадая в его следы, и впервые в жизни ей не хотелось, чтобы дорога кончалась.

## Глава 2. Охота

В лес отец всегда уходил затемно.

Дом ещё спал, только печь тихо потрескивала в углу, а за окнами стояла густая зимняя темнота. Мать ворочалась под тулупом и сонно ворчала:

— Опять девку потащишь...

Отец ничего не отвечал.

Ефросинья уже натягивала валенки.

На улице мороз хватал за лицо сразу. Воздух был таким холодным, что тяжело дышалось. Над крышами стоял сизый дым, а снег скрипел под ногами, будто ломалось тонкое стекло. Звёзды над лесом висели крупные, колючие, и казалось, до них рукой подать.

Они шли молча.

Отец впереди. Ефросинья следом, стараясь попадать точно в его следы. Снег был глубокий, нетронутый, и идти приходилось след в след, иначе проваливаешься по колено.

Лес встречал их тишиной.

Высокие сосны уходили вверх чёрными стволами. Где-то далеко стучал дятел. Иногда с веток тяжело падал снег — мягко, без звука, как будто лес вздыхал во сне. Под кронами было сумрачно и тихо, и в этой тишине каждый собственный шаг казался слишком громким.

Ефросинья любила эти часы больше любых праздников.

В лесу всё было честным.

Никому не было дела до её внешности. До того, что она слишком сильная для девушки. Слишком громко смеётся. Слишком широко шагает. Здесь важно было другое: кто внимательнее, кто терпеливее, кто умеет не бояться. Лес не спрашивал, красива ли ты. Лес спрашивал, умеешь ли ты слушать.

Отец учил её замечать следы.

Показывал:

— Заяц.

— Лиса прошла.

— Волк.

Она сначала ничего не видела. Снег и снег. Потом научилась различать примятый снег, царапины на коре, сломанную ветку, жёлтое пятнышко там, где зверь остановился. Отец показывал, как по глубине следа понять, спешил зверь или шёл спокойно; как по обкусанным веткам узнать, что здесь кормился лось; как по тонкой строчке следов прочесть всю ночную жизнь поляны.

Мир постепенно становился больше.

Раньше лес был для неё просто стеной деревьев. Теперь он раскрывался, как книга, которую она только-только научилась читать. И чем больше она читала, тем понятнее становилось, как мало она ещё знает.

Оленя они встретили под вечер.

Солнце уже садилось, окрашивая снег розовым светом. Воздух стал синим, холодным, неподвижным. На западе, между чёрных стволов, догорала узкая красная полоса, и от этого тени на снегу казались синими, почти лиловыми.

Отец вдруг поднял руку: стой.

Ефросинья замерла.

Внизу, у оврага, стоял молодой олень. Красивый. Тонконогий. С настороженными ушами. Из ноздрей шёл белый пар. Он стоял неподвижно, повернув голову, и в наступающих сумерках казался почти ненастоящим — вырезанным из сумерек, из синего снега, из тишины.

Отец медленно снял ружьё с плеча и протянул ей.

— Стреляй.

У Ефросиньи пересохло во рту.

Она подняла ружьё. Прицелилась. Олень смотрел прямо в их сторону. Тёплый, живой, дышащий комок жизни на белом снегу.

И вдруг ей стало страшно.

Не выстрела. Не крови. А того, что сейчас этот живой, красивый зверь упадёт в снег — и больше никогда не встанет. Что его глаза, в которых сейчас отражается закат, погаснут от одного движения её пальца.

Она медленно опустила ружьё.

Отец долго смотрел на неё. Потом тоже убрал ружьё за спину. Олень постоял ещё секунду и легко, без всякого усилия, исчез между деревьями — будто его и не было.

Некоторое время они шли молча.

Сумерки густели. Снег под ногами темнел. Ефросинья уже ждала упрёка — за пропавший выстрел, за слабость, за бабью жалость.

Но отец вдруг сказал:

— Это хорошо.

Она удивлённо подняла голову:

— Что?

— Что сердце живое.

Он помолчал. Потом тихо добавил:

— Убить каждый сможет. Не каждый потом помнить будет.

Эти слова Ефросинья запомнила на всю жизнь. Тогда она ещё не знала, как часто ей придётся их вспоминать — и как дорого будет стоить каждое такое решение.

Весной в деревне случилась беда.

Сын соседки, Петька, полез на старую мельницу и сорвался вниз. Мельница давно стояла заброшенная, на отшибе, у самой воды — чёрная, перекошенная, с обломанным крылом и провалившейся крышей. Туда лазили все мальчишки на спор, и взрослые сто раз обещали её снести, да всё было недосуг.

Крик слышали почти все.

Когда Ефросинья прибежала, возле мельницы уже собралась толпа. Женщины ахали, кто-то ругался, дети ревели от страха. Пахло талой землёй и тиной от реки.

Петька лежал в грязи бледный как мел.

Нога была вывернута страшно, кость торчала наружу. Мужики мялись рядом, не зная что делать. А Петька кричал так, что мороз шёл по коже, — высоко, по-заячьи, без передышки.

Ефросинья сама не поняла, как оказалась возле него.

— Воду! — резко крикнула она. — Чистую тряпку несите!

Люди вдруг зашевелились. До этого все стояли, как замороженные, а тут будто кто-то снял заклятие.

Петька хватал её за рукав:

— Фроська... больно...

— Знаю, — сказала она тихо, опускаясь рядом в мокрую грязь.

Руки у неё дрожали. Но голова почему-то оставалась спокойной. Будто кто-то другой, спокойный и умелый, встал у неё за спиной и подсказывал, что делать.

Она разорвала подол старого платья, перетянула ногу выше раны и крепко прижала ткань к крови. Запах был тяжёлый — железом, грязью и потом. Многих мучило, кто-то отвернулся, кого-то рвало у плетня. А Ефросинья смотрела только на Петькино лицо. Лишь бы не потерял сознание. Лишь бы дышал.

Когда прибежал фельдшер — старый, в потёртом пальто, с обтрёпанным саквояжем, — Ефросинья уже вся была в крови. Старик быстро глянул на повязку, на туго перетянутую ногу, на спокойные, хоть и дрожащие руки девочки. Внимательно посмотрел на неё и сказал матери:

— У девки вашей руки правильные. Ей бы в медицину.

Мать только устало вздохнула:

— Да какая медицина... Работать кто будет.

Но Ефросинья той ночью долго не спала. Сидела у окна. Слушала, как шумит весенний дождь, как капает с крыши, как ворочается во сне Манька. И смотрела на свои ладони — большие, грубые, испачканные чужой кровью, которую так и не удалось до конца отмыть в холодной колодезной воде.

Впервые в жизни ей показалось, что эти руки нужны не только для тяжёлой работы.

Петька выжил. Нога срослась криво, он на всю жизнь остался хромым, но ходил, работал, потом женился. И всякий раз, встречая Ефросинью на улице, неловко кивал ей — как кивают человеку, которому должен что-то такое, чего не вернёшь.

### Глава 3. Большая семья

В доме Тихона Захаровича всё держалось на порядке, которого никто не устанавливал, — он сложился сам, как складывается русло у реки.

Старшей была Дуся. Ефросинья помнила её уже почти взрослой — высокой, статной, с длинной русой косой, за которую заглядывались парни на посиделках. Дуся пела лучше всех в деревне. Когда по вечерам бабы выходили на лавочки и заводили песню, голос Дуси поднимался над всеми — высокий, чистый, такой, что собаки переставали брехать, а старики снимали шапки. Мать говорила про неё: «Эту замуж выдадим — и слава богу. Красивая, работающая. Не пропадёт».

Но Дуся не вышла замуж в деревне. Когда Ефросинье было девять, в Глухово приехала городская родня — двоюродная тётка, державшая в городе маленькую лавку, — и сманила Дусю с собой, в няньки к чужим детям, а там, мол, и пристроится. Мать долго не отпускала, плакала, отец молчал, как всегда. Но в доме было шесть ртов, а земли мало, и лишний рот, ушедший на сторону, означал, что остальным станет чуть легче.

Дуся уехала ранней осенью, на той же телеге, на которой потом, годы спустя, уедет и сама Ефросинья. И Ефросинья навсегда запомнила, как сестра обернулась на повороте дороги, как махнула рукой, как блеснула на солнце русая коса — и всё. Дуся писала редко, приезжала ещё реже. Город забрал её, переделал, отдалил. Замуж она вышла там, за приказчика, и стала городской, чужой, и когда наезжала в деревню — раз в несколько лет, — то была уже не та певунья с косой, а степенная, нарядная женщина, на которую вся деревня сбегалась смотреть, как на диковину.

За Дусей шли братья. Степан — старший, тихий, ласковый, с мягким сердцем. Он не мог смотреть, как режут скотину, отворачивался, бледнел. Отец качал головой: «Не мужик растёт, а красная девица». Но Степан был добрый — самый добрый из всех. Он один в семье жалел всякую тварь: подбирал выпавших из гнезда птенцов, отогревал за пазухой замёрзших котят, плакал, когда подросший телёнок шёл под нож. Ефросинья любила его особенной, защитной любовью — будто чувствовала, что такому в этом жёстком мире придётся тяжело.

Гриша был другой — крепкий, упрямый, с норовом. Он быстро уставал на работе, но не от слабости, а от нетерпения: ему всё хотелось сразу, и когда не выходило, он злился, бросал, уходил. С отцом они то и дело сшибались характерами. Гриша мечтал о городе, о машинах, о большой жизни — деревня была ему тесна. «Сбегу я отсюда», — говорил он Ефросинье по секрету, лёжа на сеновале. И сбегал бы, наверное. Только убежал не в город, а на войну, и не вернулся оттуда долгих шесть лет.

Потом шла сама Ефросинья. Потом — Манька, тоненькая, светлая, красивая, общая баловница. Манька рано поняла, что красива, и пользовалась этим без злого умысла, по-детски: ей всё прощалось, всё доставалось, и она привыкла к этому, как привыкают к хорошей погоде. Ефросинья не завидовала ей — не умела завидовать, — но иногда, глядя, как мать заплетает Маньке ленту в косу или как соседки гладят её по голове, чувствовала что-то тихое и невесёлое. Маньку любили за то, что она красивая. А её, Ефросинью, — за то, что от неё польза. Это была разная любовь. И девочка чувствовала разницу, хоть и не умела назвать.

Младшим был Ванятка — поскрёбыш, поздний, болезненный. Мать тряслась над ним, как над последней искрой. Ванятка часто хворал, и Ефросинья, бывало, ночи напролёт сидела с ним, поила тёплым молоком с мёдом, грела, баюкала. Может, оттуда, с этих ночей у колыбели больного брата, и пошло то, что после привело её в медицину. Она научилась не спать, когда рядом кто-то болеет. Научилась слушать чужое дыхание в темноте и по нему понимать, лучше человеку или хуже.

Зимними вечерами вся семья собиралась в избе. Отец чинил упряжь или точил инструмент. Мать пряла — веретено жужжало ровно, усыпляюще. Дети сидели на полатах, грызли мочёные яблоки, шептались, играли в свои игры. Горела лучина, потом — когда завелись деньги — керосиновая лампа, и тени от неё ходили по бревенчатым стенам, по закопчённому потолку, по лицам. Пахло овчиной, хлебом, дымом. За окном выла метель, а в избе было тепло и тесно, и казалось, что так будет всегда — что этот тёплый, набитый людьми дом вечен, что никто из него никогда не денется.

Но дом пустел. Сначала уехала Дуся. Потом — она сама. Потом война разметала братьев по всей огромной стране. И когда Ефросинья, уже старухой, вспоминала те зимние вечера, у неё всякий раз перехватывало горло. Потому что она знала теперь то, чего не знала тогда: что это и было счастье. Простое, тесное, тёплое, не понимающее себя счастье большой семьи под одной крышей. И что оно, как всё на свете, было дано не навсегда.

## Глава 4. Младшие

С младшими — Манькой и Ваняткой — Ефросинья была не просто сестрой. Была второй матерью.

Так уж выходило в больших крестьянских семьях: старшие нянчили младших, мать разрывалась между домом, полем и хозяйством, и присмотр за маленькими ложился на тех, кто постарше. Дуся нянчила Степана и Гришу, потом уехала. Ефросинья нянчила Маньку и Ванятку. И если за Манькой ходить было легко — та росла сама, ладная, здоровая, всеобщая любимица, — то Ванятка достался ей тяжёлым крестом и тяжёлой любовью.

Манька была светом дома. Тоненькая, золотоволосая, с большими светлыми глазами, она с младенчества притягивала к себе всё тепло, всю ласку, всё любованье. Её баловали, ей прощали, ею гордились. И, что удивительно, она не выросла от этого ни злой, ни заносчивой — была добрая, смешливая, лёгкая, как солнечный зайчик. Просто такая уж уродилась — для радости, не для тягот. Ефросинья любила её особой любовью — без зависти, с какой-то почти материнской нежностью и грустью. Заплетала ей косы, шила нехитрые обновки, защищала от подзатыльников, когда та набедокурит. И когда соседки, глядя на двух сестёр рядом — большую тёмную Ефросинью и тоненькую светлую Маньку, — вздыхали: «Одной всё, другой ничего», — Ефросинья делала вид, что не слышит. Она не обижалась на Маньку. Манька была не виновата, что красивая. Как и сама Ефросинья не виновата, что нет.

Манька рано вышла замуж — за хорошего парня из соседнего села, по любви, как в песне. Война разлучила их — мужа забрали, — но он вернулся, израненный, но живой, один из немногих. И зажили они потом, нарожали детей, и Манька, та самая порхающая Манька, оказалась крепкой, верной женой и доброй матерью. Война и её обтесала, состарила раньше срока, но не сломала. Светлые уродились на свете не только для лёгкой доли — иные и тяжесть несут легче, чем угрюмые, потому что в них больше света. Так Ефросинья под старость и думала про сестру. И всю жизнь они с Манькой держались друг друга — не так близко, как с Гришей или Нюрой, но тепло, по-родственному, через письма да редкие встречи.

А Ванятка — Ванятка был её болью и её первой школой милосердия.

Он родился последним, поскрёбшем, поздним и слабым. Болел постоянно — то горло, то грудь, то живот. Мать тряслась над ним, но матери было некогда — хозяйство, остальные дети, поле. И выхаживать Ванятку в его бесконечных хворях досталось Ефросинье. Это она сидела ночами у его колыбели, у его постели, когда он горел в жару. Это она поила его тёплым молоком с мёдом, ставила компрессы, растирала, баюкала, рассказывала сказки, чтобы отвлечь от боли. Это она научилась — раньше всякого училища, раньше больницы — слушать в темноте чужое дыхание и по нему понимать, лучше человеку или хуже. Научилась не спать, когда рядом кто-то страдает. Научилась тому страшному, выматывающему бдению у постели больного, которое потом, на войне и в госпитале, станет её ремеслом.

Однажды — Ванятке было года три, а Ефросинье лет десять — он заболел так тяжело, что думали, не выживет. Горел, задыхался, бредил. Фельдшер был далеко, в непогоду не доехать. Мать, обессилев, заплакала, опустила руки — а это было страшнее всего, потому что мать никогда не плакала и не опускала рук. И тогда Ефросинья, девчонка, всю ночь не отходила от брата. Делала всё, что знала, что подсказывало чутьё: поила, обтирала, держала вертикально, чтоб легче дышалось, говорила, говорила без умолку, лишь бы он слышал живой голос, лишь бы держался за него, не уходил. К утру Ванятке полегчало. Жар спал. Он открыл глаза, посмотрел осмысленно, попросил пить. И Ефросинья, десятилетняя, почувствовала тогда — впервые в жизни — ту ни с чем не сравнимую радость, ради которой потом проживёт всю свою жизнь: радость вырванной у смерти жизни. Радость спасения.

Много лет спустя, в голодном сорок седьмом, выхаживая от воспаления лёгких собственную дочь Надежду, она вспомнит эту ночь. И поймёт, что всё началось тогда — у колыбели больного брата, в глуховской избе, под зимнюю метель. Что спасать она научилась раньше, чем читать. Что это было в ней всегда — врождённое, или вымоленное, или переданное от матери с её неустанными руками, — это умение и эта потребность: не дать угаснуть живому.

Ванятка выжил, выправился, окреп. Войну, как уже сказано, пережил в тылу, подростком тянул хозяйство наравне со взрослыми. После — отслужил, выучился, уехал в город, стал хорошим мастером, обзавёлся семьёй. И до старости, при встречах, при письмах, относился к Ефросинье с каким-то особым, нежным почтением — не как к сестре, а как ко второй матери. Раз, уже взрослым, сказал ей: «Ты ж меня, Фрося, столько раз с того света таскала, что я тебе жизнью обязан. Не раз — много раз». И Ефросинья отмахнулась, как всегда отмахивалась от благодарности. Но в душе у неё было тепло. Потому что это была правда. Ванятка был первый, кого она спасла. Первый из многих-многих за всю её долгую жизнь.

Так и вышло, что ещё девочкой, в родном доме, Ефросинья выучилась главному своему делу. Деревня дала ей силу и терпение. Отец — твёрдость и верный глаз. Мать — понимание любви как заботы. А Ванятка, болезненный младший брат, — первое в жизни знание о том, что человека можно вырвать у смерти, если не спать, не сдаваться и быть рядом до конца. С этим знанием она и пошла потом по жизни. С ним и прожила её всю.

## Глава 5. Волки

Та зима выдалась лютая.

Снег лёг рано, в начале ноября, и валил почти без остановки. Сугробы поднялись выше плетней. Дороги перемело так, что в соседнюю деревню стало не пройти. По ночам мороз трещал в брёвнах, и казалось, что сама изба стонет от холода.

А под Рождество в округе появились волки.

Зима гнала их к жилью. Голодные, обнаглевшие, они подходили к самым дворам. У Михеевых задрали овцу прямо в закуте. У старосты пропала собака. По ночам над деревней стоял вой — тоскливый, тягучий, от которого стыла кровь и просыпались дети. Мужики собирались, обсуждали, грозились устроить облаву, но всё откладывали — в такую погоду в лес не сунешься.

Отец сунулся.

Не за волками — за дровами. Дровяник опустел, а топить надо было, и Тихон Захарович запряг лошадь, взял пилу, топор и ружьё и поехал к ближней опушке, где с осени была свалена сухостоина. Ефросинья напросилась с ним. Мать ругалась: «В такую стужу девку тащишь!» — но отец только глянул на дочь, и Ефросинья молча полезла в розвальни. Они уже понимали друг друга без слов.

Доехали засветло. Отец валил сушняк, Ефросинья обрубала ветки и таскала к саням. Мороз стоял такой, что захватывало дыхание, но от работы было жарко. Лошадь — старая смиренная Гнедуха — стояла смирно, изредка переступая, отфыркиваясь паром.

Беда пришла внезапно.

Сначала Гнедуха забеспокоилась. Заводила ушами, захрапела, затопталась. Отец поднял голову, прислушался. И Ефросинья тоже услышала — лёгкий скрип снега на опушке. Потом увидела. Серые тени между стволов. Одна. Вторая. Третья. Они шли молча, низко, разворачиваясь полукругом, отрезая людей от саней.

— К лошади, — тихо сказал отец. — Медленно. Не беги.

Ефросинья пошла. Сердце колотилось в горле. Гнедуха билась в оглоблях, обезумев от страха, и это было хуже всего — если лошадь понесёт, они останутся в лесу пешими, среди волков, на верную гибель.

Отец вскинул ружьё. Выстрел грохнул, раскатился по морозному лесу. Один из волков подскочил, завертелся, осел в снег. Стая на миг отпрянула. Отец переломил одностволку, торопливо загоняя второй патрон, — и в эту секунду Гнедуха рванула.

Она рванула так, что отца, шагнувшего было к саням, сбило оглоблей, отбросило в сугроб. Ружьё выпало, ушло в снег. А волки, оправившись от выстрела, снова двинулись вперёд — теперь на упавшего человека.

Ефросинья не думала. Потом, вспоминая, она так и не могла понять, как всё успела. Она кинулась не к отцу — к ружью. Выхватила его из снега, переломила, дрожащими руками затолкала патрон — те самые движения, которым отец учил её на морозной поляне, ввелись в пальцы намертво. Вскинула. Передний волк был уже в нескольких шагах от отца, припал к земле для прыжка.

Она выстрелила, как учил отец: спокойно, не дёргаясь, на выдохе.

Волк ткнулся мордой в снег и больше не встал.

Остальные шархнулись, заметались — и сгнули в лесу так же бесшумно, как пришли. Только две тёмные туши остались лежать на белом, да билась в стороне запутавшаяся в кустах Гнедуха.

Отец поднялся тяжело, держась за бок. Подошёл. Долго смотрел на дочь — на ружьё в её руках, ещё дымящееся, на её белое решительное лицо. Потом перевёл взгляд на убитого волка.

— Второй раз меня спасаешь, — сказал он хрипло. Хотя был это первый раз. Но Ефросинья поняла: он считает и тот выстрел по банке, и эту минуту — одним. Будто всё то давнее ученье и было ради этой минуты.

Домой ехали молча. Ефросинья правила дрожащей Гнедухой, отец сидел сзади, придерживая бок — оглобля помяла ему ребро, потом он месяц проходил перевязанный. Над лесом догорал короткий зимний день. На санях лежали две волчьи туши — шкуры потом выделали, и одна, серая, тяжёлая, лежала у них в избе на лавке много лет, и младшие боялись на неё садиться.

Уже у самой деревни отец вдруг сказал — не оборачиваясь, глядя в спину дочери:

— Знаешь, Фрося... я всё думал, кому ружьё оставить. Сыновьям думал. — Помолчал. — А оставлю тебе. Ты одна из всех — не для баловства. Ты для дела.

Это было самое большое, что он мог сказать. И Ефросинья, правя лошастью сквозь синие сумерки, чувствовала, как внутри разливается тяжёлое, взрослое тепло. В тот день она перестала быть ребёнком. В тот день она впервые спасла человека — своего отца. И уже не знала тогда, что вся её долгая жизнь станет одним этим: спасать. Снова и снова. До последнего дня.

## Глава 6. Престол

Раз в году деревня преображалась.

На престольный праздник — летом, в самую благодать, когда отходили главные полевые работы и можно было выдохнуть, — в Глухово съезжалась вся округа. Это был остаток старого, дореволюционного уклада, который держался по деревням ещё долго, несмотря ни на что: люди праздновали, как праздновали их деды, потому что без праздника жить нельзя, потому что человеку нужен хоть один день в году, когда не работа, а радость.

С утра пекли. Изба наполнялась запахом пирогов — с капустой, с грибами, с ягодой, с рыбой. Мать с Манькой хлопотали у печи с рассвета, раскрасневшиеся, перемазанные мукой. Ефросинья таскала воду, чистила, резала, помогала — как всегда, на ней была вся тяжёлая работа, но в этот день даже работа была в радость. Доставали из сундуков лучшее: вышитые рушники, праздничные рубахи, бабушкины бусы. Манька крутилась перед мутным зеркальцем, прикладывала ленты, и мать любовалась ею: «Невеста растёт».

К полудню деревня гудела. Приезжали родня и гости из соседних сёл — на телегах, празднично убранных, с лентами в гривах лошадей. Сходились к одному двору, потом к другому, столы выставляли прямо на улицу, сдвигали, накрывали всем, что было. Бедно жили, но на престол выставляли последнее — стыдно было ударить в грязь лицом. Появлялась откуда-то гармонь, и тогда начиналось главное: песни, пляски, хороводы.

Ефросинья праздники любила — и не любила. Любила общее тепло, песни, сытость, редкое чувство, что всё хорошо, что все вместе, что жизнь — добрая. А не любила — танцы. Потому что на танцах особенно ясно было видно её место. Парни приглашали Маньку, приглашали тоненьких, лёгких, смешливых. А её, большую, не приглашал никто — разве что кто из мужиков по-свойски, как сестру, проплясать круг, со смехом, который она терпеть не могла. И Ефросинья обычно стояла в стороне, у плетня, смотрела на чужое веселье и улыбалась так, будто ей и не хочется, будто ей и без того хорошо.

Один раз — ей было лет пятнадцать — её всё-таки пригласил парень. Незнакомый, приезжий, из дальнего села, видный, кудрявый. Подошёл, поклонился: «Дозвольте». У Ефросиньи зашлось сердце. Она пошла плясать — неловко, скованно, боясь дышать от счастья. А потом, в конце, услышала, как его подзуживали дружки, как смеялись: «Ну что, на спор сплясал с кобылой-то?» Оказалось — спор. Пospорили, что не решится подойти к самой большой девке на празднике. Он решился. Выиграл. Ефросинья ушла за избу, в крапиву, и стояла там, кусая губы, пока не отпустило. Не плакала — она и тогда уже не умела плакать на людях. Только стояла и смотрела, как за лесом садится солнце. И дала себе слово: больше — никогда. Никаких танцев. Никаких надежд. Это слово она держала крепко — до самого Алексея, до самой войны.

Но был один престол, который Ефросинья запомнила светлым, без горечи. Тот, на который приехала Дуся.

Старшая сестра не была в деревне несколько лет — город держал крепко. И вот приехала — на празднике, нарядная, в городском платье, в шляпке, с зонтиком от солнца, какого в деревне отродясь не видели. Вся деревня сбегалась смотреть. Дуся была хороша — городская дама, чужая, прекрасная, как с картинки. Манька ходила за ней по пятам, открыв рот. Мать и гордилась, и робела перед собственной дочерью. А Ефросинья смотрела на сестру и чувствовала странную грусть.

Потому что вечером, когда схлынули гости, когда сёстры остались вдвоём на сеновале, как в детстве, Дуся вдруг сняла свою городскую маску. И оказалось — за нарядами, за шляпкой, за зонтиком — обыкновенная усталая женщина, не очень-то и счастливая. Муж попивал. Своих детей бог не дал. Город, о котором она мечтала, обернулся тесной комнатой, чужими капризными детьми, за которыми смотрела, и тоской по дому, в котором уже не было ей места.

— Ты не завидуй мне, Фрося, — сказала Дуся в темноте сеновала. — Я знаю, вы тут думаете: вон Дуся, в город выбилась, в шляпке ходит. А я бы... знаешь... я бы всё отдала, чтоб обратно. Чтоб косу расплести, платье это снять, корову подоить, песню заорать на всю улицу. — Помолчала. — Да поздно. Назад дороги нету. Уехал — значит уехал. Город, он не отпускает. Засасывает.

Ефросинья запомнила эти слова. И когда через несколько лет сама уезжала в город — поздней осенью, в дождь, на той же телеге, — она вспомнила Дусю на сеновале, её «город не отпускает». И всю жизнь потом, в чужом городе, тосковала по Глухову, по лесу, по простору — но в отличие от Дуси не озлобилась, не закисло. Может, потому, что у неё была работа, было дело, были люди, которых надо спасать. А может, потому, что она вообще была устроена крепче, надёжнее — отцовской породы.

Дуся уехала через несколько дней. Махала с телеги зонтиком — нелепым в деревенской пыли. И больше Ефросинья сестру почти не видела. Война, расстояния, разные жизни развели их окончательно. Дуся пережила войну в эвакуации, потом осела где-то на востоке, писала всё реже, а потом и вовсе перестала. Жива ли, нет — Ефросинья под старость уже и не знала. Так город и забрал старшую сестру — без остатка, как и обещал.

А тот летний престол с пирогами, гармонью, Дусиной шляпкой и закатом за лесом остался в памяти Ефросиньи как последний отблеск той, старой, целой, ещё не разорённой жизни. Скоро коллективизация, потом война перемелют всё это, изменят деревню до неузнаваемости. Но тогда, в тот долгий летний день, ещё стоял нерушимо старый мир — тесный, бедный, но свой, тёплый, живой. И Ефросинья была в нём счастлива, сама того не понимая. Как всегда. Как все мы.

## Глава 7. Учёба

Из деревни Ефросинья уезжала поздней осенью.

Решение далось трудно. Полгода мать отговаривала, отец молчал, братья пожимали плечами. Кто же отпустит девку одну в город, в неизвестность, когда в доме и так рук не хватает? Но фельдшер, тот самый старик, дважды заходил к ним, говорил с отцом за закрытой дверью, и однажды отец вышел и сказал коротко: «Пусть едет». И всё было решено.

Небо было низким, серым. Дождь моросил с самого утра, превращая дорогу в вязкую чёрную грязь. Телега тяжело скрипела на ухабах, лошадь фыркала паром. Поля по обе стороны лежали пустые, сжатые, чёрные от дождя, и редкие стога мокли под небом, как нахохлившиеся птицы.

Мать суежилась с самого рассвета: то пирог завернёт, то платок поправит, то снова начнёт ворчать:

— И чего тебя понесло... жила бы дома как люди.

Но глаза у неё были красные.

Младшие дети сонно жались у ворот. Манька, кутаясь в платок, смотрела на старшую сестру со странным выражением — не то с завистью, не то с жалостью.

Отец всё утро молчал. Только перед самым отъездом подозвал Ефросинью за сарай. Долго шарил по карманам тулупа, потом достал маленький складной ножик с потёртой деревянной ручкой.

— Возьми.

Она удивлённо посмотрела:

— Зачем?

— В жизни всё пригодится.

Потом помолчал и добавил:

— И не бойся никого.

Это было почти как признание в любви. От человека, который за всю жизнь не сказал лишнего слова, эти три фразы стоили целой исповеди.

Ефросинья вдруг крепко обняла его. От отца пахло дымом, мокрой шерстью и табаком. Он неловко похлопал её по спине:

— Ну всё... езжай уже.

Город оглушил её сразу.

Шум. Трамваи. Каменные дома. Толпы людей. После тихой деревни всё казалось слишком быстрым. Воздух пах угольным дымом, мокрым асфальтом и чем-то железным. Дома стояли стеной, в четыре, в пять этажей, заслоняя небо, и Ефросинья, привыкшей к огромному простору над лугами, всё время казалось, что её придавливает сверху.

Первые недели в городе были самыми тяжёлыми и самыми одинокими в её жизни — до войны, конечно, до всего, что война потом принесёт. Деревенская девочка, никогда не видевшая ничего больше уездного базара, она терялась тут на каждом шагу. Не умела ездить в трамвае — боялась, что не успеет сойти. Терялась в улицах, не запоминала дороги, плутала. Дивилась витринам, фонарям, асфальту, по которому непривычно стучали подошвы. Городские казались ей все на одно лицо — быстрые, ловкие, занятые, чужие. Они говорили иначе, одевались иначе, смеялись иначе. И Ефросинья, большая, неуклюжая, в материнском платке, чувствовала себя среди них так, будто на ней написано крупными буквами: деревенщина. Ей казалось, все на неё смотрят, все видят её неуместность. И от этого она ещё больше зажималась, ещё больше неловчала.

По ночам, лёжа на узкой койке в общежитии, среди чужих сонных дыханий, она тосковала по дому так, что щемило в груди. По матери, по отцу, по тесной тёплой избе, по лесу, по

простору. По тому, чтобы выйти за околицу — и видеть до горизонта, а не упираться взглядом в стену чужого дома. Она вспоминала Дусю на сеновале: «Город не отпускает. Засасывает». И боялась: а вдруг и её так? Вдруг и она станет чужой, городской, отрезанной от дома? Не раз за те первые недели Ефросинья едва не собрала узелок, едва не сбежала обратно — к матери, к отцу, к понятной деревенской жизни. Останавливало одно: стыдно. Отец отпустил, поверил, фельдшер хлопотал, сказал — у девки руки правильные. Сбежать значило их всех подвести. И ещё — где-то глубоко, под страхом и тоской, теплилось упрямое, отцовское: раз взялась — иди до конца. Не для того ты сюда ехала, чтоб назад бечь при первой трудности. И она оставалась. Стискивала зубы и оставалась. И это была её первая большая взрослая победа — не над городом даже, над собственным страхом, над желанием сбежать в привычное. Война потом потребует от неё этой победы сто раз. Но первую она одержала здесь — в чужом городе, на узкой койке, не дав себе сбежать.

А потом город понемногу обжился, перестал быть чужим. Появились знакомые лица, привычные маршруты, своё место в столовой, своя койка у окна. Тоня. Учёба. Больница. Жизнь затянула, закружила, наполнилась делом — и тоска отступила, спряталась куда-то вглубь, осталась тихой нотой, которая будет звучать в Ефросинье всю жизнь: тоска по дому, по лесу, по простору. Но жить она больше не мешала. С нею Ефросинья научилась жить, как научилась жить со многим.

Она шла по улице с тяжёлым узлом вещей и чувствовала себя огромной и неуклюжей среди городских девушек в аккуратных пальто и модных шапочках. Те шли быстро, легко, перебрасываясь словами на ходу, а она тащилась с узлом, в материнском платке, в подшитых валенках, и казалась себе пугалом, забредшим с поля в чужой нарядный мир.

В общежитии на неё посмотрели с любопытством.

— Ты откуда такая?

— Из деревни.

— Видно.

Девчонки захихикали.

Ефросинья улыбнулась будто равнодушно. Хотя внутри всё неприятно сжалось.

Комната была на восьмерых. Узкие железные койки в два ряда, общий стол у окна, под потолком — голая лампочка. Ефросинье досталось место в углу, у самой двери, где дуло, — но ей было всё равно. После избы, где спали вповалку, отдельная койка казалась роскошью.

Вечерами соседки бегали на танцы, красили губы перед маленьким зеркалом, обсуждали артистов и женихов. А Ефросинья сидела над учебниками.

Латынь давалась ей тяжело. Чужие слова не держались в голове, путались, и она переписывала их по сто раз, шевеля губами, пока другие спали. Зато анатомию она понимала почти сразу. Кости. Мышцы. Сосуды. Человеческое тело казалось ей сложным и удивительным механизмом, где всё зачем-то нужно, где нет ничего лишнего, ничего случайного. Она запоминала латинские названия костей легче, чем стихи, потому что за каждым названием была вещь, которую можно потрогать, понять, представить.

Преподаватель однажды остановился возле её стола.

— Хорошо соображаете, товарищ Ефросинья.

Она так смутилась, что покраснели даже уши. Хвалили её редко. Так редко, что похвала пугала её сильнее окрика.

Была среди соседок одна, Тоня, — маленькая, востроносая, бойкая. Сначала она тоже посмеивалась над деревенской, но как-то раз Ефросинья молча, не говоря ни слова, перетаскала за неё все её дежурные вёдра с водой, когда Тоня слегла с жаром. После этого Тоня прониклась и стала единственной, с кем Ефросинья хоть немного сошлась. Тоня учила её, как закалывать волосы по-городскому, как не теряться перед строгой комендантшей, как эконо-

мить на обедах, чтобы хватало на тетради. А Ефросинья помогала ей с анатомией и таскала тяжёлое. Так и держались вдвоём.

Настоящая жизнь началась в больнице.

Там всё было другим. Запах карболки. Белые стены. Гулкие коридоры. Тяжёлое дыхание больных. Высокие окна пропускали ровный серый свет, и в этом свете всё казалось чище и строже, чем в жизни.

Некоторые студентки падали в обморок от вида крови. Ефросинья не боялась. Она спокойно держала таз во время операций, меняла повязки, мыла полы после тяжёлых больных. То, от чего других мутило, она делала спокойно и обстоятельно, как привыкла делать любую работу дома.

Старшая медсестра сперва наблюдала за ней настороженно. Была это женщина суровая, немолодая, с поджатыми губами и цепким взглядом, гонявшая практиканток нещадно. Потом начала ставить Ефросинью рядом с самыми тяжёлыми пациентами.

— У тебя руки надёжные, — сказала она однажды. — Такие люди в медицине нужны.

После этих слов Ефросинья весь день ходила будто оглушённая. Никто раньше не говорил, что она нужна. Не «здоровая», не «сильная», не «работящая» — а нужна.

Первого своего спасённого больного она запомнила навсегда.

Старик с воспалением лёгких. Худой. Серый. Кашляющий кровью. Привезли его поздно, родные тянули, лечили дома травами да банками, и в больницу он попал уже почти безнадежным.

Ночью ему стало хуже.

В палате было душно, окна запотели, лампа под потолком горела тускло-жёлтым светом. За стеной кто-то стонал во сне. Старик начал задыхаться — хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, и глаза его наполнялись ужасом.

Врачей рядом не было. Дежурный спал в ординаторской, добудиться его в ту минуту казалось невозможным.

Ефросинья осталась с ним одна.

Она помнила, как холодны были его пальцы. Как он цеплялся за её рукав. Как хрипло шептал:

— Не дай помереть... доченька...

Ей тогда стало страшно по-настоящему. Не крови. Не смерти. А того, что может не успеть.

Она подняла старика, придерживала его тяжёлое тело, посадила повыше, подоткнула подушки, чтобы легче дышалось, растирала грудь, говорила без остановки — лишь бы он слышал человеческий голос, лишь бы не проваливался в темноту. Говорила всё, что приходило в голову: про деревню, про лес, про то, как сходит снег по весне, — глупости, неважно что, лишь бы голос не прерывался.

Когда прибежал врач, старик ещё дышал.

Через неделю он уже сидел на кровати и медленно ел кашу дрожащими руками. Перед выпиской долго искал глазами Ефросинью по палате. А когда увидел — заплакал.

— Спасибо тебе...

Она стояла перед ним в слишком большом белом халате, смущённая, огромная, с покрасневшими руками от работы. И чувствовала внутри тихое, почти болезненное тепло. Будто наконец поняла, зачем живёт.

## Глава 8. Зиночка

Город Ефросинья так и не полюбила. Но привыкла к нему — как привыкают к тесной обуви, которую не сменишь.

Годы шли. Она отучилась, осталась работать в той же больнице, перебралась из общежития для учащихся в общежитие для медперсонала — узкая комната на двоих, потом, когда повезло, на одну. Деревенская девочка в подшитых валенках мало-помалу стала городской медсестрой — в чистом халате, с уверенными руками, которую звали по имени-отчеству и которой доверяли самых тяжёлых. Но внутри она оставалась прежней. Так же тосковала по лесу, по простору, по тишине. Так же не умела вертеться, нравиться, говорить пустое. Так же чувствовала себя слишком большой, слишком тяжёлой, слишком не такой среди лёгких городских людей.

Тоня была её единственной отрадой. Маленькая, востроносая, бойкая, она держалась за Ефросинью все эти годы — и Ефросинья держалась за неё. Они были как два разных дерева, сросшихся корнями: одно тонкое и гибкое, другое кряжистое и крепкое. Тоня тараторила за обеих, влюблялась, ссорилась с ухажёрами, плакала, мирилась, бегала на танцы — и всё рассказывала Ефросинье, сидя по вечерам на её кровати, поджав ноги. А Ефросинья слушала, кивала, чинила Тонины кофточки, давала ей в долг свои скудные деньги и никогда не просила вернуть.

— И чего ты замуж не идёшь? — приставала Тоня. — Ты ж золото, Фроська. Хозяйственная, добрая, сильная. Любой за тобой как за каменной стеной.

— Кто ж на меня посмотрит, — отмахивалась Ефросинья.

— Дура ты. Ты на себя не так смотришь. — Тоня хмурила тонкие бровки. — Ты себя через ихние глаза видишь. А ты сама на себя погляди.

Но Ефросинья не умела смотреть на себя сама. Только чужими глазами. И в чужих глазах она читала всегда одно: «здоровая», «работящая», «не красавица». Так уж сложилось с детства, с Манькиной ленты в косе, с соседкиных вздохов «тебе бы мужиком родиться».

А потом появился Аркадий Петрович.

Фельдшер из соседнего, мужского отделения. Невысокий, ладный, с аккуратными усиками, с мягким голосом и обходительными манерами, каких Ефросинья прежде не встречала. Он говорил красиво, складно, шутил, целовал старшим сёстрам руки, и все женщины в больнице немножко в него были влюблены. Ефросинья — тоже. Сама не заметила, как это случилось.

Это было тихое, тайное, мучительное чувство. Она ни словом, ни взглядом его не выдавала — боялась до смерти. Но внутри всё переворачивалось, когда он проходил по коридору. Она знала его расписание лучше своего. Подгадывала так, чтобы оказаться в столовой, когда там он. Краснела, когда он бросал ей мимоходом: «Здравствуйте, голубушка». Целый год она прожила этим. Целый год тайком копила в себе свет, который, как ей казалось, никому не виден.

Однажды она набралась духу. Связала ему — будто бы просто так, между делом — тёплые шерстяные носки: зима стояла суровая, а он, она заметила, кашлял. Долго думала, как отдать, чтобы не выдать себя. Решила — оставлю в ординаторской, скажу, лишние связались, не пропадать же. Несла этот свёрток через двор, прижимая к груди, и сердце колотилось так, будто она шла на первый в жизни экзамен.

И во дворе, у самого крыльца, она увидела его. Аркадий Петрович стоял под фонарём с Зинойчкой из регистратуры — тоненькой, смешливой, с голосом как колокольчик. Он держал её под руку и что-то говорил ей на ухо, а Зинойчка смеялась, запрокинув голову, и снег падал ей на ресницы. Они прошли совсем близко от Ефросиньи — так близко, что он мог бы задеть

её плечом. Но не задел. Не заметил. Скользнул по ней взглядом — как по фонарному столбу, как по сугробу, как по пустому месту — и прошёл мимо, к своей Зиночке, к своему лёгкому смеху, к своей понятной, правильной любви.

Ефросинья постояла ещё минуту во дворе. Потом вернулась в свою комнату. Носки она не отдала никому. Сунула их в дальний угол сундука и долго потом не могла на них смотреть.

В ту ночь она проплакала в подушку — тихо, чтобы не разбудить никого, как привыкла плакать с детства. Не от ревности даже. От стыда. От того, как глупо, как смешно было ей, такой большой, такой некрасивой, что-то там себе напридумывать. Возомнить, что и ей полагается. Утром она встала, умылась ледяной водой из-под крана, заплела косу и пошла на смену. И больше не позволяла себе такого. Никогда. Захлопнула эту дверь в себе и привалила камнем.

Тоня, узнав, страшно ругалась — на Аркадия, на Зиночку, на весь свет, на самую Ефросинью.

— Да он же пустой! Болтун! Бабник! Что ты в нём нашла?

— Ничего, — спокойно сказала Ефросинья. — Уже ничего.

И это была правда. Она вырвала это из себя, как вырывают больной зуб, — с кровью, но насовсем. Решила раз и навсегда: любовь, замужество, семья — это не для неё. Её дело — работа. Её дело — чужие жизни, которые надо спасать. А своя так и пройдёт стороной, тихая, незамужняя, никому не нужная. И ничего. Проживёт. Многие так живут.

Она не знала тогда, что жизнь ещё посмеётся над этим её решением. Что через несколько лет, в самый страшный год, среди крови и смерти, к ней придёт то, чего она уже и ждать перестала. Что полюбит её не складный фельдшер с усиками, а мальчишка без ноги, которого она сама вытащит из могилы. И что полюбит он её не за лёгкость и красоту, а за то самое, чего стыдились другие, — за её силу, за её надёжные руки, за её упрямое, не умеющее отступить сердце.

Но до этого было ещё далеко. А пока Ефросинья жила тихо. Работала. Копила деньги, отсылала домой. Читала по вечерам. Чинила Тонины кофточки. И научилась не ждать ничего для себя — и в этом неожиданно нашла покой. Когда ничего не ждёшь, ничто и не ранит. Так она думала. И так прожила несколько спокойных, ровных, ничем не примечательных лет.

Последних мирных лет, как оказалось.

## Глава 9. Руки

В профессию Ефросинья вращалась медленно, но накрепко — как вращается в землю дерево.

Поначалу, ученицей, она делала чёрную работу: мыла полы, выносила, стирала бинты, грела воду. Городские девочки, учившиеся вместе с ней, нос воротили от такого — они шли в медицину за белым халатом, за чистотой, за уважением, а тут — судна, кровь, рвота, грязь. Многие не выдерживали, отсеивались. Ефросинья не воротила нос ни от чего. Деревенская работа приучила её, что грязной работы не бывает, — бывает нужная и ненужная. А вся работа в больнице была нужная. И она делала её спокойно, обстоятельно, не брезгуя, не жалуясь.

Старшая сестра, та суровая женщина с поджатыми губами, гонявшая практиканток нещадно, разглядела Ефросинью первой. «Эта останется, — сказала она как-то другой сестре, не зная, что Ефросинья слышит. — Эта из тех, на ком всё держится. Не из белоручек». И стала учить — придиричиво, строго, без поправок, но по-настоящему. Показывала, как делать укол, чтоб не больно. Как перевязать, чтоб держалось и не давило. Как переложить тяжёлого больного, не надорвавшись и не причинив ему муки. Как говорить с умирающим. Как обмыть мёртвого — потому что и это входило в ремесло, и от этого нельзя было отворачиваться.

Ефросинья впитывала всё. Анатомию, выученную по учебникам, она теперь видела вживую — под руками, под скальпелем хирурга, на которого ассистировала. Тело человеческое, удивлявшее её ещё на первых занятиях своей сложностью и совершенством, теперь раскрывалось перед ней изнутри — со всеми его хитростями, со всей хрупкостью и со всей поразительной живучестью. Она научилась читать тело, как когда-то в лесу научилась читать следы. По цвету кожи, по дыханию, по пульсу, по запаху — понимать, что с человеком, куда идёт болезнь, есть ли надежда. Этому не научишь по книгам. Это приходит только с руками, только с годами, только с сотнями прошедших через тебя людей.

Первые свои серьёзные случаи она помнила всю жизнь. Старик с воспалением лёгких — самый первый, цеплявшийся за рукав. Роженица, которую принимали ночью, когда не успели довести до родильного, — и Ефросинья, ещё совсем молодая, держала на руках только что рождённую, орущую жизнь и плакала от какого-то непонятного счастья. Мальчишка, проглотивший гвоздь. Женщина, отравившаяся грибами, которую откачивали всю ночь. Самоубийца, перерезавший вены от несчастной любви, — Ефросинья, перевязывая его, думала про себя, как глупо губить жизнь из-за того, из-за чего она сама когда-то проплакала ночь и встала наутро жить дальше.

Она поняла про себя главное в эти годы: ей нужно, чтобы в ней нуждались. Это была не гордыня, не тщеславие — наоборот, что-то почти болезненное. Всю жизнь, с детства, ей внушали, что любят за красоту, за лёгкость, а её, некрасивую, тяжёлую, можно только терпеть да использовать для работы. И вот в больнице она нашла то место, где была не просто нужна — незаменима. Где её сила, её надёжность, её спокойствие, которых стыдились на танцах, оказались бесценны. Где умирающий старик хватал её за рукав и звал «доченькой». Где её ждали, искали глазами, благодарили. Здесь её любили — не за красоту, а за то, что она есть, за то, что она делает, за то, какая она. И этого ей хватало. Этим она жила.

«У тебя руки правильные», — сказал когда-то деревенский фельдшер над раненым Петькой. «У тебя руки надёжные», — сказала старшая сестра. Руки. Всё дело было в руках — больших, грубых, некрасивых руках, которых она когда-то стыдилась перед тоненькими городскими барышнями. Эти руки, не годившиеся, как ей казалось, для любви, оказались созданы для другого, может быть, большего — для спасения. И постепенно Ефросинья перестала стыдиться их. Стала почти гордиться. Эти руки умели то, чего не умели нежные холёные ручки. Эти руки держали жизнь.

К началу войны она была уже опытной, уважаемой сестрой — из тех, кого ставят на самое трудное, кому доверяют без оглядки. Деревенская девочка в подшитых валенках стала мастером своего дела. И когда грянула война, когда понадобились руки — надёжные, не дрожащие, умелые, — её руки оказались как раз такими, какие были нужны. Будто вся прежняя жизнь, всё ученье, вся безответная копившаяся нежность готовили её именно к этому. К войне. К тысячам раненых. К метельной ночи, когда она повезёт по тёмному коридору каталку с умирающим мальчишкой и скажет: «Жить тебя везу».

Но это было ещё впереди. А пока стояли последние мирные годы — тихие, ровные, наполненные привычной нужной работой. И Ефросинья была в них по-своему счастлива, сама того не зная. Как была счастлива в детстве, в тесной избе под метель. Как будет счастлива потом, в своём доме, у цветущего сада. Счастье вообще приходило к ней так — незаметно, буднично, не объявляя себя. И понимала она его всегда задним числом, оглядываясь. Как и все мы.

## Глава 10. Мирная жизнь

К двадцати четырём годам Ефросинья уже привыкла к больнице так, будто прожила в ней всю жизнь.

Старое двухэтажное здание стояло на окраине города, среди тополей и облезлых деревянных домов. Когда-то это была земская больница, потом её перестроили, надстроили, обнесли забором, но старая основа осталась — толстые стены, широкие подоконники, печи в каждой палате. Весной под окнами пахло мокрой землёй и лекарствами, летом — нагретой пылью и карболкой, зимой — угольным дымом и сырой шерстью больничных шинелей. Тополя по весне сыпали пух, и он лежал по углам двора серыми сугробами, забивался в форточки, кружился в коридорах.

Она знала здесь каждый звук.

Скрип половиц в хирургии. Кашель стариков за тонкой стеной. Звон металлических лотков. Тихие стоны по ночам. Даже шаги врачей различала. Главврач ступал быстро и сердито, будто всё время куда-то опаздывал. Старый терапевт шаркал мягко, почти неслышно. А молодой хирург Витенька всегда насвистывал себе под нос — какой-нибудь модный мотивчик, подслушанный в клубе.

Ефросинья работала много. Иногда слишком много. Могла сутки провести на ногах, почти не присев. После смены выходила на улицу с тяжёлой головой, садилась на крыльцо и долго смотрела, как ветер гоняет пыль по дороге. Руки у неё огрубели ещё сильнее. На пальцах — вечные следы йода, маленькие ожоги от кипятка, трещины от мыла и холода.

Но пациенты любили её. Особенно дети и старики. Может, потому что она никогда не говорила пустых утешений. Если больно — значит больно. Если страшно — значит страшно. Но рядом с ней почему-то становилось легче.

Даже врачи это замечали.

— С тобой люди спокойнее, — однажды сказал хирург Витенька, снимая окровавленные перчатки. — Не знаю почему.

Ефросинья только пожала плечами. Она и сама не знала.

Витенька — Виктор Палыч, как звали его в глаза, — был ненамного старше Ефросиньи, весёлый, лёгкий, с тонкими руками пианиста и вечной папироской в зубах. Он шутил даже над тяжёлыми, и больные за это его любили, а старшая сестра ругала: «Несерьёзный вы человек, доктор». Он отшучивался, но руки у него во время операций были точные и спокойные, и Ефросинья видела: за лёгкостью прячется что-то другое, что-то, что он бережёт от чужих глаз.

Жила она в маленькой комнате при общежитии для медперсонала. Узкая кровать. Стол у окна. Железная печка. На гвозде — единственное выходное платье, серое, в мелкий цветочек, которое она надевала так редко, что оно почти не сминалось.

По вечерам она любила сидеть у окна с книгой или чинить одежду младшим братьям — мать всё ещё присылала письма с просьбами помочь. Письма были неровные, с ошибками, написанные Манькиной рукой под материнскую диктовку. В них была вся деревня: корова отелилась, у Степана родился сын, Гриша собрался жениться, отец прихворнул спиной, но уже встал, картошку выкопали, слава богу, урожай ничего. Ефросинья читала их по нескольку раз и долго потом сидела, глядя в окно, и деревня вставала перед ней так ясно, что щемило сердце.

За окном шумел город. Смеялись люди. Гремели трамваи. Изредка доносилась музыка из клуба через дорогу.

Иногда Ефросинья ловила своё отражение в тёмном стекле. Крупное лицо. Тяжёлые плечи. Тёмные волосы, кое-как убранные назад. Красавицей она себя не считала никогда. Да и привыкла уже, что мужчины смотрят мимо неё — на других женщин. На тоненьких, звонких, с локонами и лёгким смехом.

Сначала было обидно. Та давняя история с Аркадием Петровичем и тоненькой Зиночкой долго ещё ныла где-то глубоко, как старый, плохо сросшийся перелом. Но Ефросинья научилась с этим жить.

Потом прошло. Она научилась жить без ожиданий. Только иногда, поздними вечерами, становилось вдруг особенно тихо и пусто внутри. Тогда она отворачивалась от окна и принималась за любую работу — лишь бы не думать.

То утро начиналось обычно.

Солнечный июньский день. Тёплый ветер. На рынке возле больницы уже торговали клубникой — первой, дорогой, сладко пахнушей на весь переулок. Ефросинья шла на смену в лёгком сером платье и несла в руках свёрток с хлебом. По дороге мальчишки гоняли мяч, дворник поливал пыльную улицу водой из шланга, а из открытых окон пахло жареным луком и свежим бельём. Где-то играл патефон, и женский голос пел про синий платочек.

Мир был спокойным. Обыкновенным. Таким, каким он был вчера и каким, казалось, должен был остаться навсегда.

Возле входа в больницу почему-то собралась толпа.

Люди стояли молча. Очень тихо. Кто-то держал в руках газету. Кто-то плакал. Радио хрипело на подоконнике раскрытого окна.

Ефросинья замедлила шаг. И вдруг услышала:

— Война...

Слово прозвучало так странно, будто не настоящее. Она даже не сразу поняла смысл. Только увидела лицо старшей медсестры — белое, растерянное.

— Германия напала...

У кого-то рядом выпал из рук бидон с молоком, и белая лужа медленно расплзлась по тротуару, и никто не нагнулся подобрать. Женщина начала креститься. Мужчина в кепке повторял: «Да как же... да как...»

А Ефросинья стояла неподвижно, чувствуя, как внутри медленно поднимается холод. Будто земля под ногами вдруг стала пустой.

Свёрток с хлебом она так и держала в руках, прижав к груди, и потом, много лет спустя, вспоминая это утро, всегда чувствовала на ладонях тепло того хлеба — последнего хлеба мирной жизни.

## Глава 11. Первый день войны

К полудню больница уже гудела как растревоженный улей.

По коридорам бесконечно ходили люди. Скрипели носилки, хлопали двери, кто-то плакал в приёмном покое, кто-то кричал на санитаров. Радио в ординаторской сипло повторяло одно и то же, и от этого монотонного голоса становилось ещё тревожнее.

«...вероломное нападение...» «...наши войска...» «...весь советский народ...»

Слова были большие, тяжёлые, государственные. Но война ощущалась не в них. Она была в лицах.

Врач Витенька, обычно весёлый и разговорчивый, курил одну папиросу за другой прямо у окна и никак не мог прикурить — руки дрожали. Он уже знал, что его призовут одним из первых, хирурги нужны на фронте, и в его лёгкости появилось что-то лихорадочное.

Старшая медсестра ходила слишком быстро, роняла бумаги и всё время поправляла волосы, выбившиеся из-под косынки. Даже главврач, человек жёсткий и громкий, сегодня говорил тихо. Будто боялся произнести что-то страшное вслух.

Ефросинья весь день работала почти машинально. Мыла инструменты. Перебирала бинты. Носила воду. Успокаивала больных. Но внутри у неё стоял холод. Не страх даже. Что-то тяжелее. Словно привычная жизнь — та самая, понятная и крепкая, как стены родительского дома, — вдруг треснула где-то глубоко внутри.

И сразу, в первый же час, мысль метнулась к дому. К братьям. Степан, Гриша — их заберут. Их обоих заберут. Эта мысль вошла под рёбра холодным лезвием и осталась там.

К вечеру в городе стало непривычно тихо.

Люди собирались возле радио. Читали газеты. Переговаривались вполголоса. Мужчины уже обсуждали фронт, будто война шла давно.

— До зимы кончится.

— Немца быстро погонят.

— Наших так просто не возьмёшь.

Но в голосах слышалась неуверенность.

Ефросинья возвращалась в общежитие пешком. Над городом медленно гасло небо. Воздух был тёплый, пах пылью, тополиным пухом и дымом из заводских труб. На перекрёстке мальчишки всё ещё гоняли мяч, но как-то вяло, без обычного шума. Будто даже дети чувствовали: что-то изменилось.

У хлебного магазина женщина вдруг начала плакать. Тихо. Беззвучно. Просто стояла, прижимая к груди сумку, и плакала. Прохожие отворачивались. Ефросинья тоже отвела взгляд. Она не знала почему, но от чужих слёз становилось трудно дышать.

Уже у самого общежития её догнала Тоня — та самая, востроносая, из учебных времён, теперь работавшая в той же больнице. Догнала, схватила за руку, и они постояли молча, держась друг за друга, как держатся в темноте.

— Витьку моего заберут, — сказала наконец Тоня. Голос у неё был сухой, без слёз. — В первый же день, сказали, повестка.

Ефросинья знала, что Тоня тайком встречается с парнем с завода. Она ничего не ответила, только сжала её руку крепче. Слова были не нужны.

Ночью она долго не могла уснуть. Соседки по комнате шептались в темноте.

— Говорят, мужчин мобилизуют.

— А если до нас дойдут?

— Да перестань ты...

Кто-то тихо всхлипнул.

За окном шумел ветер. Редко звенели трамваи. Где-то далеко лаяла собака.

Ефросинья лежала на спине и смотрела в потолок. Перед глазами почему-то стояла деревня. Отец у крыльца. Мать у печки. Младшие братья. Лес зимой. И вдруг она впервые ясно поняла: ту жизнь уже не вернуть. Даже если война закончится быстро.

Через несколько дней город было не узнать.

Война входила в него быстро, день ото дня меняя всё. Появились очереди — за хлебом, за солью, за спичками, за всем сразу, потому что люди, напуганные, кинулись запасаться. Военкоматы осадили толпы — кто по повестке, кто добровольцем. По улицам шли колонны мобилизованных — на вокзал, к эшелонам, и за каждой колонной бежали, цеплялись, плакали женщины. На окнах появились бумажные кресты — крест-накрест, от взрывной волны. Вечерами вводили светомаскировку: ни огонька, чёрные слепые окна, патрули на улицах. По радио гремели марши и сводки, и сводки день ото дня становились тревожнее — оставлены такие-то города, идут тяжёлые бои. Город будто разом повзрослел, посуровел, подобрался — как человек перед бедой.

Тонин Витька ушёл в первую же неделю — как она и боялась. Ефросинья провожала их обоих на вокзал — Тоня держалась, не плакала при нём, улыбалась, махала, а как поезд ушёл — осела на руки Ефросинье и завывала в голос, страшно, по-бабьи. Ефросинья держала её, гладила по голове — впервые в роли той, к кому прижимаются в горе. Потом это станет её всегдашней ролью. А тогда было ещё внове. «Вернётся, — говорила она Тоне, не зная ничего наперёд. — Вот увидишь, вернётся». Витька не вернулся. Пропал под Вязьмой в том же сорок первом. Но это будет потом. А пока был июнь, был перрон, был уходящий поезд и первое в её жизни чужое горе, которое она приняла на свои руки.

Уходили на фронт парни, с которыми Ефросинья работала, училась, жила бок о бок. Витенька — тот весёлый молодой хирург из её прежней больницы — ушёл одним из первых, хирурги были нужны позарез. Перед уходом забежал проститься, и был непривычно серьёзен, не шутил, только сказал: «Ну, сестра, может, и свидимся ещё на той войне. Земля круглая». Свиделись или нет — Ефросинья так и не узнала. Война раскидала всех, кто где. Иных она потом встречала — на фронте, в госпитале, по письмам. Иные сгнули без следа, как сгнули миллионы. Город пустел от мужчин — их забирала война, — и наполнялся ранеными, которых она возвращала.

Через несколько дней в больницу начали поступать первые раненые.

Пока ещё немного. Молодые ребята в пыльных гимнастёрках, с усталыми глазами и серыми лицами. У одного — обожжённые руки. У другого — осколок в бедре. Третий всё повторял: «Там наши остались... там наши...»

Запах крови теперь почти не выветривался из коридоров. Сладковатый. Тяжёлый. К нему примешивались йод, карболка, пот и табачный дым. Иногда Ефросинье казалось, что больница сама пропиталась страданием. Будто стены всё впитывают и уже никогда не станут прежними.

Она работала без отдыха. Смены сливались одна в другую. Ночи исчезли. Иногда она засыпала сидя — прямо за столом, положив голову на руки. Но стоило где-то раздаться крику: «Сестра!» — она сразу вставала.

Письмо из дома пришло в начале июля. Манькиной рукой, но слова были не Манькины — короткие, рубленые, отцовские. Степана и Гришу забрали в один день. Степан в пехоту, Гриша — куда-то в сапёры, толком неизвестно. Мать слегла. Отец просил беречь себя и «зря на рожон не лезть». Ефросинья прочла письмо и долго сидела, держа его на коленях. Оба сразу. Оба её брата. Степан, который боялся крови, и Гриша, который быстро уставал. Где они теперь, в какой стороне этого огромного, загоревшегося со всех краёв мира?

В конце июля пришла похоронка на санитарку из соседнего госпиталя. Молоденькая девочка. Девятнадцать лет. Её знали многие. Неделю назад ещё смеялась в столовой. Теперь — всё.

Хоронили её всем госпиталем. Гроб был лёгкий, его несли на руках четыре медсестры, и Ефросинья шла за ним и не могла поверить, что в этом гробу — та самая хохотушка, что одалживала у неё иголку. Вот когда война перестала быть словом из радио. Вот когда она вошла в самое сердце.

Главврач после похорон долго молчал на летучке, потом сказал:

— На фронте не хватает медиков. Будут формировать санитарные бригады добровольцев. В комнате стало тихо. Кто-то опустил глаза. Кто-то тяжело вздохнул.

Ефросинья почувствовала, как внутри будто что-то решилось само собой. Спокойно. Без громких мыслей. Будто давно уже было решено, а она только сейчас об этом узнала.

Она поднялась первой.

— Я пойду.

Главврач посмотрел на неё долгим усталым взглядом.

— Понимаешь хоть, куда идёшь?

— Понимаю.

На самом деле — нет. Никто тогда ещё не понимал.

После летучки её догнала Тоня. Лицо у неё было злое и испуганное одновременно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.